

18+

ЗАЛОЖНАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

АЛЕКС ВЕСТ

Алекс Вест

Заложная

«Издательские решения»

Вест А.

Заложная / А. Вест — «Издательские решения»,

Москва, 1880-е годы. Лютая метель замечает следы преступления, но не может скрыть самое страшное: на окраине города найдено тело молодой женщины. Дорогая одежда, драгоценные серьги — и перерезанное горло. Кто она? Французская модистка, содержанка богатого аристократа. Улики ведут к нему: письма с угрозами, охотничий нож, ревность и новая любовница. Кажется, дело раскрыто... Но начальник сыскной полиции Иван Филиппович Назаров не верит в очевидное.

© Вест А.

© Издательские решения

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	23
Глава третья	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Заложная

Алекс Вест

© Алекс Вест, 2026

ISBN 978-5-0070-4833-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Заложная.

Глава первая

Седьмого ноября, в вечерний час, когда московские фонари зажигались не столько от нужды, сколько от привычки, — ибо метель залепляла стёкла белым, а большой минус, небывалый для первой половины месяца, гнал прохожего в первый попавшийся трактир, — подполковник Назаров сидел в своём кабинете на Тверской, перебирал пальцами пуговицу шинели и думал о доме.

Дом был на Плющихе. Дома ждала Марья Никитична с ужином из того, что нынче не приведи Господь есть холодным, и любимая кошка, которая в морозы ложилась ему на колени с наглостью, недопустимой в подчинённых. Он уже взял было фуражку, но задержался у окна: в стёкла хлестало снежной крупой, извозчицы пролётки стояли, сгрудившись у фонарного столба, а городской на углу казался памятником самому себе — заиндевевшим, терпеливым, бесполезным.

Иван Филиппович вздохнул. Уходить, не выслушав вечернего доклада, было не по правилам. Правила он завёл ещё при генерале Долгорукове и с тех пор не нарушал, даже когда в городе лютował такой ноябрь, что святки вспоминались с тоской.

— Позвать дежурного офицера, — негромко приказал он вестовому, поправив на столе листы с утренними донесениями.

Вошедший штабс-капитан (фамилию его Назаров всякий раз забывал, хотя лицо помнил отлично — бледное, благообразное, с усиками, закрученными в ничто) вытянулся по всем правилам устава, щёлкнул каблуками и замер, ожидая соизволения.

— Докладывайте, — сказал Назаров, садясь обратно в кресло. Кресло скрипнуло жалобно, но он этого скрипа уже не слышал — столько лет служили друг другу.

Штабс-капитан откашлялся в кулак и начал.

— Ваше высокоблагородие, за истекшие сутки по вверенному вашему вниманию градоначальству происшествий, подлежащих особой регистрации, в количестве, превышающем статистическую погрешность, не зафиксировано. По участку Хамовническому — одно задержание по подозрению в малом пьянстве, по Лефортовскому — два случая неозначенного шума в ночное время, по Пречистенской части — происшествие по категории «утерянное имущество», рассмотрению не подлежащее, ибо оное имущество есть кошель с медью, коего владелец впоследствии сыскан.

Назаров слушал, и чем дольше слушал, тем яснее понимал, что в голове у него начинает звенеть тот самый зуд, который обыкновенно предшествовал либо приступу головной боли, либо желанию выругаться. головную боль он заслужил тридцатилетней сыскной работой, а ругаться при подчинённых не любил — не потому, что был робкого десятка, а потому, что матерное слово надлежало пускать в дело с толком, как хороший револьвер.

— ...по Мясницкой, — продолжал штабс-капитан, набирая обороты, — зафиксировано самовольное отбытие из места временного содержания лица без определённых занятий, однако по принадлежности сего лица к категории неблагонадёжных протокол составлен и направлен в порядке подчинённости...

— Слушайте, любезный, — перебил Назаров, стараясь, чтобы голос звучал ровно, даже ласково. Он взял со стола перьевую ручку и покрутил её, будто это занятие требовало всех его умственных сил. — Вы человек исполнительный, я вижу. И доклад ваш — образец уставной чистоты. Но мне, знаете ли, не столько рапорт нужен, сколько живая душа. Кто из наших оперативных... — он на секунду запнулся, подбирая слово, — то есть кто из сотрудников сыскной обоймы ныне на месте? Кто в городе, кто в ночном дозоре?

Штабс-капитан принял вопрос как новое распоряжение, щёлкнул каблуками ещё раз и отрапортовал уже с меньшей напыщенностью, но с той же уставной обстоятельностью:

— По списку ночной смены на сей час значатся: поручик Огарёв, что при исполнении на Полянке по делу о пропавшем купце; коллежский асессор Львов, который только что изволили возвратиться с Зацепы; и при них трое околоточных надзирателей согласно прилагаемой ведомости.

Услышав фамилию Львова, Назаров положил перо и сделал то, чего не делал никогда при этом штабс-капитане — позволил себе легкую, почти неуловимую улыбку. Усы его шевельнулись, и седой волос блеснул при керосиновой лампе.

— Вот что. Пригласите-ка ко мне Львова. Живо.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие.

Когда дверь за штабс-капитаном закрылась, Назаров вынул из кармана носовой платок и промокнул лоб — жарко было в кабинете от печей, хотя снаружи, по всем приметам, Москва вымерзала до самого центра земли.

Львов вошёл неслышно, как и подобает человеку, двадцать лет умеющему становиться кем угодно — хоть швейцаром, хоть купцом, хоть нищим у паперти. Сейчас он был просто сыскным агентом: лицо усталое, но живое, в глазах — та спокойная наблюдательность, которая Назарову нравилась больше любых рапортов.

— Звали, Иван Филиппович? — спросил Львов, остановившись у порога.

— Звал, Платон Сергеич. Садиться не предлагаю — сам домой собираюсь. Скажи мне коротко, без этих... — подполковник махнул рукой в сторону двери, за которой только что испарился штабс-капитан, — без витиеватостей. Что в городе?

Львов подумал секунду, потом ответил, и в голосе его не было ни служебного подобострастия, ни желания выслужиться:

— Ничего такого, что позволило бы мне отнять у вас время, Иван Филиппович. Мороз, метель, люди по домам сидят. На Зацепе — кража из лавки, мелкая. На Полянке — пьяный драчун, Огарёв его уж взял. А больше — тишина.

Назаров посмотрел на него внимательно, помолчал, потом кивнул:

— Достаточно. Ступайте. И сами не мёрзните — завтра, чуёт моё сердце, работы будет много.

Львов поклонился и вышел так же бесшумно, как вошёл.

Иван Филиппович остался один. Он ещё раз оглядел кабинет: знакомые до скуки карты Москвы на стенах, пыльные папки с нераскрытыми делами, чернильница. Вдохнул. Потом полез в карман шинели и извлёк свою неизменную трубку — старую, венскую, с потрескавшимся мундштуком. Повертел её в пальцах, понюхал табачный налёт.

И вдруг усмехнулся, пряча трубку обратно.

— Нет, — сказал он сам себе негромко. — Казённую трубку — в казённом месте. А дома меня ждёт хорошая сигара марки «Partagás», которые Марья Никитична бранит, но каждый месяц покупает. Грешен.

Он натянул пальто на крепкие плечи, поднял воротник, взял фуражку и, не оглядываясь на погасшую лампу, вышел в коридор. Там уже ждал вестовой с фонарём, потому что лестница в управлении была крута, и на ней, случалось, ломали ноги даже трезвые.

На крыльце метель ударила в лицо со всего размаха. Городовой у входа, узнав подполковника, взял под козырёк. Назаров кивнул ему, но не сказал ничего — рот мгновенно забило снегом.

Экипаж стоял у тумбы, лошадь дышала паром, кучер, закутанный в тулуп до бровей, приподнял шапку.

— На Плющиху, — коротко бросил Назаров, забираясь в возок.

Дверца захлопнулась с глухим стуком. Лошадь тронулась, и экипаж, покачиваясь, поплыл по белой, заносимой заново Москве — туда, где в тёплой гостиной уже догорали свечи, а на столике у кресла лежала сигара, дожидаясь своего часа.

Экипаж остановился у подъезда, который и подъездом-то назвать было неловко — скорее, парадная арка, выложенная глазурованным кирпичом, с двумя чугунными фонарями по бокам, чьи стёкла в эту метель казались заиндевевшими глазами. Назаров, придерживая фуражку, выбрался из возка и тотчас услышал скрежет метлы — это дворник Ефим, несмотря на поздний час и лютый холод, навёл чистоту. Ефим был из тех дворников, что помнили ещё домовладельца до реформы, знали в лицо каждого жильца и каждого гостя, а если какая барышня приходила не вовремя, то наутро о том уже судачила вся кухня.

— Здравия желаю, Иван Филиппович, — Ефим приподнял шапку, и снег посыпался с его седых бровей. — К утру расчистим. А то господин железнодорожный изволили гневаться, что карета в сугробе увязла.

— Здравствуй, Ефим, — кивнул Назаров, сунув ему двугривенный. — Ты бы в сторожку шёл, а то околеешь. Утро вечера мудренее.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, — обиделся дворник. — Стыд будет, если сугроб перед парадным выше крыльца вырастет. У нас дом образцовый, не какие-нибудь мещанские каморки.

Иван Филиппович не стал спорить. Он толкнул тяжёлую дубовую дверь и вошёл в вестибюль.

И сразу — как в другой мир. Там, за дверью, выла метель, здесь же пахло воском, деревом и чуть-чуть фиалками — от пальм. Две настоящие пальмы в кадках стояли по бокам от зеркала в рост человеческий, их широкие листья тянулись к лепному потолку. На подоконнике мраморном, отполированном до блеска, покоилась связка ключей и медный колокольчик для вызова прислуги. У стены дежурил швейцар в ливрее с галунами — пожилой, важный, с бакенбардами, как у императора Александра Второго в молодости.

— Доброго вечера, Иван Филиппович, — швейцар принял шинель с той почтительной неторопливостью, которая говорит о долгой службе у хороших господ. — Барыня ваша звонили час назад, спрашивали, не приехали ли.

— Метель, Фёдор Кузьмич, — вздохнул Назаров, поправляя сюртук.

Лестница была широкая, с коваными перилами, на поворотах — опять пальмы в кадках, и на каждой площадке — медная табличка с фамилией жильца. На втором этаже жил начальник железной дороги, человек суетливый и громогласный, на третьем — профессор-медик, тихий, с женой-немкой, выше — какие-то композиторы и певцы, о которых Назаров знал только то, что они играют на роялях до полуночи, и Марья Никитична называла их «богемой», а он — «бедокурами, у которых денег на дрова не хватает». Сам он занимал квартиру на четвёртом этаже, не слишком высоко, но с видом на двор — потому что вид на улицу достался купцу-суконщику, который заплатил домовладельцу лишнюю тысячу.

Квартира Назарова была просторна, но без барства. В прихожей пахло щами и мятой — это от старой кухарки Агафьи Тихоновны, которая правила в доме без малого двадцать лет.

Она и встретила его. Не горничная, не лакей — сама Агафья Тихоновна, женщина лет сорока пяти, но с лицом таким заботливым и строгим, что казалось, будто она держит в уме весь дом, все болезни, все ужины и все грехи хозяина, который, по её мнению, слишком часто выходил на холод без шарфа.

— Наконец-то, Иван Филиппович, — сказала она, принимая шапку и кряхтя (хотя кряхтела она больше для порядка, потому что была крепка, как молодая берёза). — А я уж думала, что вы там до утра с этими ворами. Марья Никитична изволят гневаться, ужин уже подали. И где ваш шарф? Опять без шарфа? Я же вам в карман пальто положила!

Назаров терпеливо выслушал этот причитающий монолог, который повторялся всякий раз, когда он возвращался позже десяти. Агафья Тихоновна помнила крепостное право — сама была дворовой в орловской усадьбе, а когда вольную получила, подалась в Москву и попала в дом к молодому тогда ещё Ивану Филипповичу, только-только получившему первый чин. С

тех пор она и служила ему, и берегла его так, будто он был её неразумным сыном, а не седым подполковником. Назаров шутил иногда: «Ты бы, Агафья, меня пеленать начала», — на что она отвечала: «А вы и не выросли ещё, Иван Филиппович, потому что умный человек будет себя беречь, а вы себя не бережёте».

— Шарф в кармане, Агафья Тихоновна, — мягко сказал он, развязывая шнурки на ботинках (калоши он сбросил ещё внизу). — Я его надел. Потом снял, когда жарко стало. Всё в порядке.

— В порядке у Господа в раю, — проворчала Агафья, но голос её потеплел. — Проходите, барин. А я Дуняшу позову, пусть стол накрывает. Девка шустрая, да безрукая пока. Всё учу.

Дуняша — та самая сирота, которую Назаров привёл в дом два года назад. Дело было тёмное: отец её, мелкий лавочник, зарезался в пьяной драке, мать умерла от чахотки, и девочка осталась одна в подвале на Арбате с куклой и тремя рублями. Назаров тогда вёл другое дело, зашёл в этот подвал по наводке соседей и увидел её — худую, большемерную, с глазами, которые уже не плакали, потому что выплакали всё. Сыскное чутьё подсказывало ему, что девчонка ни в чём не виновата и никому не нужна. А через неделю, когда он пристроил её к Агафье, пришёл приказ о производстве в следующий чин с прибавкой жалованья ровно на столько, сколько стоило прокормить лишний рот.

Назаров был в меру религиозен — не бил поклонов, не ставил толстых свечей, но молитву «Отче наш» читал каждое утро и в церковь ходил по воскресеньям. И тогда, получив приказ, он перекрестился на образ Спасителя в красном углу и сказал тихо: «Ну, Господи, спасибо. Значит, правильно я сделал». С тех пор он не сомневался, что Дуняша послана ему не просто так, а как напоминание — что сыскная полиция ловит не только воров, но и спасает живые души. Хотя сам он эту мысль никогда не высказывал вслух, чтобы не прослыть сентиментальным.

Дуняша выбежала из кухни в накрахмаленном переднике, щёки красные, глаза блестят — то ли от печного жара, то ли от радости, что барин вернулся.

— Здравствуйте, Иван Филиппович! — поклонилась она в пояс, как учила Агафья. — Я сейчас самовар поставлю. Агафья Тихоновна велели, чтобы вы сразу руки мыли, потому что ужин стынет.

— Успею, — усмехнулся Назаров. — Где Марья Никитична?

Девушки зашептали наперебой, тихо, но перебивая друг дружку, так что слова мешались в один радостный, взволнованный клубок.

— Не велено говорить... — начала было Агафья.

— Дабы сюрприз вам сделать, — перебила её Дуняша, и глаза её горели как два уголька. — А мы и так скажем, потому что вы свой, не чужой...

— Дуняша! — прикрикнула Агафья, но беззлобно. — Дай барину самому увидеть. Или ты думаешь, он не обрадуется?

— Чему обрадуюсь? — Назаров уже догадывался, но решил не подавать виду. Он любил эту домашнюю игру — когда его ждали не только жена и ужин, но и неожиданные гости.

— Гости у нас, Иван Филиппович, — выпалила наконец Дуняша, не в силах более терпеть. — Супружеская пара с нашего подъезда. Вы с ними дружны семьями. Они пришли совсем недавно, ещё не начали трапезничать, дожидаются вас. И Марья Никитична велели не рассказывать, а мы вот...

— Эка невидаль, — усмехнулся Назаров, и лицо его просветлело той редкой, домашней радостью, которую в управлении никто никогда не видел. — Гости — то у нас часто... И кто же? — спросил он. Хотя отлично уже понял, кто это. Зима, а в прихожей нет чужих вещей, а это значит: гости пришли с подъезда и кто они, он уже отлично понял.

— Николай Александрович с супругой, — торжественно произнесла Агафья, поправляя передник. Самойловы пришли вас проведать.

— Ах, вот оно что! — Назаров даже крякнул от удовольствия. — Ну, это хорошие гости. Это, можно сказать, гости от Господа.

Он быстро провёл ладонью по седым усам и уже шагнул было в столовую, но задержался, обернулся к девушкам и строго, хотя глаза смеялись, сказал:

— Только Марье Никитичне ни слова, что вы мне проболтались. А то она вас заругает, а мне потом с ней разбираться. Сюрприз, видите ли... И без того радость.

— Ни-ни, Иван Филиппович, — закивали обе, и Дуняша даже перекрестилась для верности...

В гостиной, у камина, сидели двое. Поднявшись навстречу хозяину, они явили собою ту редкую супружескую чету, где муж и жена не просто уживаются, но составляют одно целое — в мыслях, в разговоре, в отношении к миру.

Николай Александрович Самойлов, профессор Московского университета, историк и публицист, человек, чьё имя гремело по всей России не меньше, чем имена Тургенева или Достоевского, а в иных кругах — и того более. Ему было далеко за пятьдесят, но держался он с удивительной для своих лет живостью: высокий, чуть сутулый, с окладистой седой бородой и живыми, пронизательными глазами, которые, казалось, видели насквозь не только древние хартии, но и современные души. Главный его труд — «История русского общественного движения от Петра до Александра Освободителя» — выдержал три издания и расходился как горячие пирожки; его лекции в университете собирали полные аудитории, а в Петербурге, говорят, сам государь изволил читать его статьи в «Русском вестнике». Но при всей своей знаменитости Самойлов был человеком простым, без амбиций, любил хорошую беседу, крепкий коньяк и, что особенно ценил Назаров, никогда не смотрел на сыскную полицию свысока. Напротив, он считал сыск важнейшей частью государственной жизни и говорил: «Пока вор ходит по улице, все наши реформы — одна видимость».

Супруга его, Елизавета Павловна, была женщина лет сорока пяти, сохранившая ту благородную полноту и спокойствие, какие даются только счастливым замужеством и ясным умом. Она не писала книг и не читала лекций, но в московских гостиных её называли «некоронованной королевой Пречистенки»: она умела принимать гостей так, что после её вечеров люди мирились, влюблялись и начинали писать стихи. С Назаровыми они дружили давно — ещё с тех пор, как пять лет назад Иван Филиппович помог найти пропавшую у Самойловых старую няню, которая заблудилась в лесу под Москвой. С тех пор Самойловы звали Назарова «нашим сыщиком», а он их — «нашими мудрецами», и эти шутливые прозвища прижились.

— Ну, Иван Филиппович, — воскликнул Самойлов, протягивая руку для пожатия обеими ладонями (он всегда здоровался так — по-крестьянски, по-русски), — а мы уж думали, вы сегодня вовсе не вернётесь! Метель-то какая, а? Я из университета ехал — фонари не горят, лошади по брюхо в снегу, кучер ругался так, что будь это в древнем Риме, его бы за такое красноречие в сенат выбрали.

— Здравствуйте, Николай Александрович, здравствуйте, Елизавета Павловна, — Назаров по очереди поцеловал руку госте, пожал руку гостю и только тогда позволил себе улыбнуться во весь рот. — Извините, задержали. Доклад выслушивал. Такой, знаете, доклад — от одного его можно заболеть.

— Мы уже поняли, что не в коня корм, — мягко вставила Марья Никитична, поднимаясь из кресла. Она была сердита — но той особенной женской сердитостью, когда мужчина чувствует, что сейчас начнётся, но не может определить, за что именно. — Иван, ты хоть бы предупредил, что задерживаешься. Люди ждут, ужин стынет.

— Марья, голубушка, — Назаров повернулся к ней с той удивительной лёгкостью, которая появлялась у него только дома, — позволь тебя спросить: когда я вышел из экипажа, Ефим-дворник сказал мне, что господа Самойловы изволили пожаловать ровно двадцать минут назад.

Стало быть, если сложить время на раздевание, на приветствия и на этот вот ваш сюрприз, который девчонки мне уже выболтали, — я не задержал никого ни на минуту. Более того: я пришёл ну почти одновременно с гостями.

— Ну, вы, сыщики, всё рассчитаете, — проворчала Марья Никитична, но в голосе её уже не было зла. Она махнула рукой и села обратно. — Проходите, садитесь. Агафья, накрывай на стол.

— И вот что, — добавил Самойлов, подходя к буфету и извлекая из объёмистого сакво-
яжа две бутылки, завернутые в салфетки. — Я не с пустыми руками, Иван Филиппович. Здесь — для нас с вами. Прошу любить и жаловать.

Он поставил на стол первую бутылку и даже при слабом свете камина стало видно, что это за вещь. Тёмное стекло, сургучная печать с короной, этикетка с золотым тиснением: «Courvoisier VSOP Grande Champagne». Коньяк, которого в Москве не сыщешь и за большие деньги, — настоящий, французский, выдержанный не менее двадцати лет. Такие бутылки Самойлову присылал прямо из Парижа его старый друг, известный славист, живший на Мон-мартре.

— Николай Александрович, — Назаров покачал головой, — это же грабёж среди бела дня. За такое и судить не грех.

— А вы меня и судите, — рассмеялся историк. — Но сначала выпейте. А для дам, — он извлёк вторую бутылку, поуже, изящную, с зелёным стеклом, — «Bénédictine». Настоящий, из аббатства Фекан. Елизавета Павловна уверяет, что это единственный ликёр, от которого не болит голова наутро.

— Что ж, — сказал Назаров, потирая руки, — коньяк — это серьёзно. А гости — ещё серьезнее. Проходите, садитесь, рассказывайте, как живёте, что пишете, кого ругаете в новой статье. Только без политики, умоляю. А то я за день от неё устал хуже, чем от воров.

Коньяк Назаров принял с уважением, но без той трепетной страсти, какую питали к нему иные московские любители. Иван Филиппович вообще был холоден к крепким напиткам — не из брезгливости и не из сухого трезвенничества, а по той причине, что тридцать лет сыскной работы приучили его держать голову ясной в любой час дня и ночи. Дома же, если и позволял себе расслабиться, то предпочитал либо настойку, что готовила Агафья Тихоновна на травах и меду, — мягкую, душистую, согревающую, либо её же водку, очищенную на молоке, до такой прозрачности, что сквозь рюмку можно было газету читать. Водку эту Назаров любил и называл «простонародной правдой» — в отличие от заморских вин, от которых, говаривал он, «одна спесь, а толку мало».

Но сейчас, ради дорогого гостя, он согласился на коньяк. Самойлов, знавший пристрастия друга, одобрительно кивнул и разлил по широким пузатым рюмкам — по чуть-чуть, на два пальца, как велят правила.

— За встречу, — сказал историк, поднимая рюмку.

— За встречу и за то, чтобы она была не последней, — добавил Назаров, и они чокнулись.

Коньяк пошёл по жилам теплом, но Иван Филиппович мысленно отметил, что свою настойку он всё же любит больше. Однако виду не подал — умел быть гостеприимным.

Стол ломился от яств. Агафья Тихоновна знала толк в угощении, а уж когда приходили Самойловы, она выкладывалась на полную силу. В центре стола, на большом овальном блюде, гордо восседала отварная индейка — сочная, рассыпчатая, украшенная веточками укропа. Вокруг неё теснились тарелки и миски: холодная нарезка из отварного языка, нарезанного тонкими, почти прозрачными ломтями, и рядом — аккуратно, кружочками, выложенный зельц, в котором угадывались кусочки мяса, жира и чеснока, переливавшиеся на свету янтарём.

Но истинное украшение стола, то, что напоминало Назарову о его южной родине, где он родился и провёл детство, — стояло по краям. Глубокое фаянсовое блюдо с баклажанами,

скрученными в тугие рулетики, внутри которых пряталась кинза, истолчённый грецкий орех и чеснок, всё это слегка сбрызнутое маслом и пропитанное виноградным уксусом. Рядом — сливы, напигованные кинзой и чесноком, законсервированные в собственном соку, кисло-сладкие, с горчинкой. Тут же только что из открытой банки аджика — густой, красной, с искрами перца, такой острой, что у неподготовленного гостя выступали слёзы, а Назаров ел её ложкой, намазывая на чёрный хлеб и приговаривая: «Вот это жизнь. Остальное — суета». И конечно, солёные помидоры — крепкие, с укропом и листом смородины, — и огурчики, хрустящие, малосольные, только что из бочонка.

— Эх, Иван Филиппович, — вздохнул Самойлов, откусывая баклажановый рулетик, — смотрю я на ваш стол и понимаю: не туда мы, историки, смотрим. Мы всё о царях да о войнах, а главное в России — это вот. Баклажаны с кинзой и умение дружить.

— Николай Александрович, — усмехнулась Елизавета Павловна, — ты бы ещё сказал, что Россия держится на аджике.

— А разве нет? — подхватил Назаров, подкладывая себе острого. — Вот в Питере этого нет. Там всё по-немецки, по-шведски — шницели да фрикадельки. А мы, москвичи, да ещё с южным корнем, знаем, что душа человека через желудок познаётся. Если гость аджику не боится — значит, мужик надёжный.

Марья Никитична, которая сама была из рязанских, этих южных восторгов не разделяла, но мужа не перечила. Она молча накладывала гостям индейку и поглядывала на дверь — не пора ли подавать пироги.

А это, сказал Назаров, подвигая соусник поближе к гостю, — это, Николай Александрович, вещь, ради которой стоит жить на свете. Даже если бы не было ни сыска, ни Москвы, ни чинов — один этот соус оправдывает существование человеческое.

Самойлов осторожно наложил ложку на край своей тарелки, макнул кусочек индейки в белую массу и отправил в рот. Глаза его округлились.

— Господи, — вымолвил он, прожевав, — что же это? Я за свою жизнь, Иван Филиппович, обедал и у губернаторов, и у министров, и в Париже в «Café Anglais» бывал, но такого... Это не соус. Это музыка.

— Вот именно, — довольно усмехнулся Назаров, подкладывая себе добавки. — Потому что губернаторы и министры, они, знаете, в основном едят карьеру. А мы с вами едим то, что от Бога и от южного солнца.

Елизавета Павловна, женщина в делах кухонных весьма искушённая (в их доме тоже умели готовить, и неплохо), взяла соусник в руки, понюхала, прищурилась.

— Чеснок, — сказала она. — Много чеснока. Сметана... и что-то ещё. Кислое, но не уксус. Простое, деревенское. Секрет, Марья Никитична?

— Какой же секрет, — улыбнулась Марья Никитична, хотя на самом деле была польщена. — Всё просто до глупости. Семьдесят процентов сметаны, тридцать — кефиру.

— Кефира? — переспросил Самойлов. — Это который кавказский? Я слышал, его в горах делают, в бурдюках.

— Он самый, — кивнула Марья Никитична. — Но можно и простым кислым молоком заменить, если кефира не достать. А главное — чеснок. Иван Филиппович учил меня по-своему, по-южному. Чеснок не резать, не давить давилкой этой, модной, а толочь в ступке, присыпая солью. Соль сок из него вытягивает, а сок этот — он и есть вся сила. Потом чёрного перца чуть-чуть, на кончике ножа. Всё это в сметану с кефиром — и на час в холод. Настояться.

— И всё? — не поверила Елизавета Павловна.

— И всё, — подтвердил Назаров, вытирая усы салфеткой. — Но только чеснок должен быть не тот, что в Москве продают — водянистый, бледный. А южный, ядрёный, с фиолетовыми прожилками. Такой, чтобы после него у извозчика лошадь чихала. Я, когда в Ростове жил мальцом, бабка моя такой соус делала — пальчики оближешь. К курице, к индейке, к утке

— ко всякой птице он хорош. Даже к глухарю, если попадётся, а глухарь мясом суховат, так соус его смачивает и облагораживает.

Самойлов, не дожидаясь продолжения, наложил себе ещё индейки и щедро полил соусом.

Разговор лился легко. Самойлов травил байки из университетской жизни: о профессоре, который читал лекции, принимая валерьянку, и заснул посреди курса; о студенте, который сдавал экзамен по истории Византии, назвав императора Юстиниана «Юстином из Херсона». Назаров слушал, посмеивался в усы, изредка вставляя сыскные истории — но без жестоких подробностей, прилично. Елизавета Павловна рассказывала о новой постановке в Малом театре, где блистала какая-то молодая актриса, «такая воздушная, что, кажется, её сдувает ветерком». Дуняша бесшумно подливала чай, меняла тарелки, и на её раздумывавшемся лице сияло счастье — в доме было весело, а значит, и она была при деле.

И вдруг, в самом разгаре разговора, когда Самойлов начал было объяснять, почему он считает Московский университет выше Петербургского, а Назаров уже открыл рот, чтобы возразить, — в прихожей раздался звонок.

Звонок был резкий, требовательный. Не тот, которым звонят друзья, забывшие что-то сказать. И не тот, которым звонит торговец с редким товаром. Этот звонок был казённым — коротким, сухим, без всякой надежды на угощение.

Назаров положил вилку. Улыбка сползла с его лица, как снег с крыши при первом оттепели.

— Прошу простить, — сказал он негромко и поднялся.

В коридоре уже слышались шаги — Агафья Тихоновна открыла дверь. Потом приглушённые голоса: мужской, почтительный, но настойчивый, и испуганный — это Агафья, которая всегда пугалась поздних визитов.

Назаров вышел в прихожую. Там стоял молодой городской — заиндевевший, с побелевшими усами, переминаясь с ноги на ногу. За его спиной, в полумраке лестницы, маячила ещё одна фигура, но Иван Филиппович не стал всматриваться.

— Ваше высокоблагородие, — городской вытянулся во фрунт, — велено срочно. Пакет для вас. И экипаж подан.

Он протянул запечатанный конверт.

Назаров взял, сломал печать, пробежал глазами несколько строк. Читал он быстро — привычка, выработанная годами, когда каждое промедление стоило жизни или свободы. Потом сложил лист, сунул во внутренний карман сюртука и сказал ровным ничего не выражающим голосом:

— Ждите.

Он вернулся в столовую, и все сразу замолчали. Даже Дуняша замерла с подносом в руках.

— Что, Иван? — спросила Марья Никитична, и в голосе её прозвучало то, что всегда звучит у жён сыщиков — обречённость, смешанная с надеждой на чудо.

— Дела служебные, — сказал Назаров, останавливаясь у своего стула. — Требуют моего немедленного прибытия. Простите, ради Бога, Николай Александрович, Елизавета Павловна. Не ждал, не гадал, что так выйдет.

— Иван Филиппович, — поднялся Самойлов, — что вы, что вы. Дело есть дело. Мы люди понимающие.

— Да, да, конечно, — закивала Елизавета Павловна, хотя в глазах её мелькнула тень огорчения. — Мы нисколько не в претензии.

Назаров уже натягивал сюртук, поправлял воротничок. Глаза его стали теми, какими они были в управлении — колючими, всё замечающими, ничего не пропускающими. Домашний человек уступил место сыщику.

— Марья, — сказал он, обернувшись к жене, — ты уж распорядись тут без меня. Пирог не прячь, гостей не отпускай. Я вернусь — когда вернусь. Сама знаешь.

— Иван, — Марья Никитична встала, подошла к нему, поправила воротник (хотя он был и так в порядке) и сказала тихо, так, чтобы только он слышал: — Надень кашне. И револьвер проверь.

— Всё проверено, — ответил он так же тихо. И добавил громко, для гостей: — Ещё раз простите, дорогие мои. Вечер испортил.

— Да какой же это испортил? — воскликнул Самойлов, поднимая рюмку. — Мы тут без вас, Иван Филиппович, вашу индейку доедим и ваше здоровье выпьем. А вы возвращайтесь скорее. И чтобы — живой и здоровый.

— Постараюсь, — усмехнулся Назаров. — Не в первый раз.

Он поцеловал руку Елизавете Павловне, кивнул Самойлову, поймал на себе тревожный взгляд Агафьи Тихоновны, которая уже крестила его в углу, и вышел в прихожую.

Дверь за ним закрылась. В коридоре стихли шаги. Потом хлопнула парадная дверь, и снизу, с улицы, донеслось: лошадь фыркнула, кучер крикнул, экипаж тронулся.

Марья Никитична постояла секунду, глядя на закрытую дверь, потом перекрестилась украдкой, повернулась к гостям и сказала с той улыбкой, которую она носила как орден за долгую службу — сдержанно, горьковато, но достойно:

— Что ж, гости дорогие, привыкла я. Тридцать лет привыкаю — и всё никак до конца не привыкну. Силушка не женская. Но уж если муж мой пошёл — значит, кому-то нужна помощь. Давайте-ка выпьем за него, чтобы вернулся.

Они выпили. Самойлов молчал, Елизавета Павловна промокнула глаза платочком, а Агафья Тихоновна ушла на кухню и там, натирая медный таз, сказала Дуняше:

— Вечно одно и то же. Сядут люди за стол — и тотчас ему звонок. Господь с нами, грешными. Свечку поставлю, как уйдёт господин профессор.

Дуняша кивнула, хотя свечку она собиралась поставить всё равно — и за барина, и за лошадь его, и за тех, кого он поехал спасать.

А за окном всё так же выла метель. И Москва, закутанная в снег, ждала своего сыщика.

Назаров вышел из парадного, на ходу застёгивая шинель. Метель к ночи не утихла, а, напротив, разыгралась пуще — снег бил в лицо крупной, ветер рвал полы, и фонарь у подъезда раскачивался, как пьяный мастеровой. У тумбы, заложив лошадь, ждал полицейский экипаж — просторный, крытый, но не карета, а скорее пролётка с верхом, для сыскных нужд приспособленная. Кучер, закутанный до глаз, только шапку приподнял.

Городовой, что принёс пакет, остался у дверей — по долгу службы. Он выпрямился и замер, как статуя, только пар изо рта валил клубами. Иван Филиппович знал: теперь этот брава-ый служака простоит здесь до утра, а сменит его другой. И так каждый день, каждую ночь — у парадной дома, где живёт начальник сыскной полиции, несут караул. Назарову это всегда было в тягость. Он считал, что городовой нужен на перекрёстке, у банка, у винной лавки, но не у его собственной двери. «Я, слава Богу, не император и не министр, — ворчал он в сердцах, — чтобы меня сторожили как государственную печать». Однако начальство рассуждало иначе: дом подполковника Назарова должен быть образцом порядка, и если уж простые купцы нанимают частных сторожей, то начальник сыска Москвы и подавно достоин казённого поста. Спорить с этим было бесполезно, и Иван Филиппович махнул рукой — пусть стоят, не мешают.

Зато соседи были в восторге. Фабриканты, железнодорожники, профессора — все они внезапно обрели у своего подъезда бесплатного стража. Городовой с револьвером, а по ночам ещё и полицейские разъезды проходили мимо, демонстрируя особое рвение в охране общественного порядка в районе проживания высокопоставленного чина. «Иван Филиппович, — говаривал ему начальник железной дороги, — вы не представляете, как нам повезло! С тех

пор как вы здесь поселились, у нас даже колодезные крышки не воруют». Назаров тогда только усмехался в усы и отмалчивался.

Сейчас, садясь в экипаж, он бросил короткий взгляд на заиндеветого городского, кивнул ему и сказал:

— Через час сменят, я распоряжусь. В такую погоду пусть почаще меняют и людей берегут» Не мёрзните там.

— Никак нет, ваше высокоблагородие! — браво отозвался тот, и в его голосе не было ничего от мерзнувшего человека.

Экипаж тронулся. Лошадь, фыркая, пошла по занесённой мостовой. Внутри было темно, пахло кожей, табаком и лошадиным потом. Назаров устроился на жёстком сиденье, придвинулся к окошку, за которым метель лепила белое месиво, и только тогда перевёл взгляд на своего спутника.

Молодой человек сидел напротив, подобрившись, как пружина. Одет по-сыскному — добротный сюртук, высокие сапоги, на коленях папка с бумагами. Звали его Константин Дмитриевич Ветлугин, подпоручик сыскной полиции, всего второй год в штате, но уже зарекомендовавший себя делом о фальшивых ассигнациях в Хамовниках — там он один выследил фальшивомонетчика. Назаров присматривался к нему: парень был толковый, не болтливый, глаз острый. И сейчас он молчал, соблюдая субординацию — младший не смеет начинать разговор с начальником. Иван Филиппович это ценил, хотя иногда подобная чинопочтительность его утомляла.

— Личность убиенной установлена? — спросил Назаров прямо, без предисловий. Голос его в закрытом экипаже звучал глухо, но требовательно.

Ветлугин встрепенулся, как ученик, которого вызвали к доске, и ответил с той тщательной аккуратностью, какую вырабатывают у молодых сыщиков после первых выговоров:

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Мы и труп-то достаточно не исследовали. Ибо велено было вызывать вас, а без вас ничего особо не трогать. Такой приказ от его превосходительства.

Назаров нахмурился. Это было и правильно — начальство хотело, чтобы он сам всё видел в первозданном виде, — и досадно, потому что терялось время.

— Так с чего же взято, что убита? — спросил он, чуть понизив голос. — Может, замерзла? Ночь, метель, пьяная баба из трактира вывалилась — вот и лежит.

— Нет, — твёрдо сказал Ветлугин. — Убита, это видно. Я своими глазами видел. — Он запнулся, подбирая слова, чтобы не сказать лишнего, но всё же добавил: — Следы насилия на лице и шее. И поза неестественная. Замёрзшая иначе лежит смирно. А эта... — он не договорил, махнул рукой. — Простите, ваше высокоблагородие, более ничего сказать не могу. Мне велено было вас встретить и доставить, подробности — при вас, на месте. А мне они не известны» — Разумно, — буркнул Назаров, хотя внутренне закипал от нетерпения. — Где тело?

— За Дорогомиловской заставой, ваше высокоблагородие. В овраге, что у Поклонной горы, с левой стороны, если от заставы отъехать. Место глухое, пустырь, там даже летом редко кто ходит. А сейчас — сугробы по пояс.

Назаров кивнул. Это был конец Москвы — вернее, уже не Москва, а предместье, где ютились извозчицьи дворы, старые склады и пустыри, поросшие бурьяном. Место для убийства удобное: и криков не слышно, и следы метелью заметёт.

— Кто из наших там? — спросил он, помолчав. — Львов должен приехать?

— Платон Сергеич уже в пути, — ответил Ветлугин. — Ему на Зацепу велено было, а оттуда он прямо на место. Должен с минуты на минуту подоспеть. Поручик Огарёв уже там — он первым прибыл, когда сообщение получили от околоточного.

— А околоточный как оказался?

— Обход делал, ваше высокоблагородие. По Дорогомиловскому участку. Заметил в овраге что-то белое, подумал — мешок брошенный. Подошёл — а это рука. Женская.

Назаров больше не спрашивал. Он откинулся на спинку, закрыл глаза и стал перебирать в уме всё, что знал о пропажах женщин за последние месяцы. Двенадцать — сказал Огарёв. Двенадцать бесследных. Теперь, может быть, тринадцатая. Только эта уже не бесследная — она лежит в сугробе под Поклонной горой, и метель засыпает её последнее пристанище.

Ехали молча. Экипаж раскачивало, лошадь то и дело понукали кнутом, потому что снег валил всё гуще, и даже фонари, редкие за заставой, почти не пробивали эту белую пелену.

Наконец кучер осадил лошадь, и Назаров услышал сквозь вой ветра голоса — несколько мужских, один властный, другой почтительный, третий ворчливый.

— Прибыли, ваше высокоблагородие, — сказал Ветлугин и первым выскочил из экипажа, подавая руку начальнику.

Иван Филиппович вылез, поправил шапку, и его сразу обдало ледяным ветром. Перед ним открылось то, что в темноте можно было назвать лишь скоплением теней и огней. Горело несколько факелов и два полицейских фонаря, воткнутых в снег. В их неровном свете виднелись фигуры людей в шинелях и тулупах, скучившиеся у края оврага. Лошади топтались рядом, пар валил от морд. В стороне стояла чья-то карета — тёмная, с гербом, видимо, начальственная.

Назаров шагнул вперёд, и тотчас к нему повернулись несколько голов. В отсветах факелов он узнал знакомые лица.

Первым, кого он увидел, был пристав Дорогомиловской части, Пётр Егорович Свешников — грузный, краснолицый человек лет пятидесяти, в накинутой на плечи медвежьей шубе. Он стоял у самого края оврага и смотрел вниз, на белый бугор, из которого торчало что-то тёмное — то ли рукав, то ли подол. Завидев Назарова, Свешников выдохнул с облегчением, словно с плеч свалился пудовый мешок.

— Иван Филиппович, слава Богу! — воскликнул он, тяжело ступая навстречу. — Уж мы вас заждались. Тут такое дело... Непростое.

— Добрый вечер, Пётр Егорович, — Назаров пожал протянутую руку, не тратя времени на любезности. — Показывайте.

Свешников обернулся и махнул рукой куда-то в сторону, где стояли двое полицейских чинов пониже рангом — околоточные надзиратели. Один из них, Иван Степанович Кондратьев, старый служака с седыми усами, бывший унтер-офицер, подошёл и козырнул.

— Кондратьев, вы тело нашли? — спросил Назаров.

— Так точно, ваше высокоблагородие, — ответил тот глуховатым, прокуренным голосом. — Обход делал, вижу — сугроб, а из сугроба кисть. Я сразу понял — не к добру. Позвал понятых, оцепили. А трогать не стали, как велено.

— Умница, — сказал Назаров и уже хотел спуститься в овраг, но его окликнули.

— Господин подполковник! Прошу минуту внимания.

Из темноты выступил высокий худощавый господин в дорогом пальто на лисьем меху, с шапкой в руке. Лицо его, при факелах, было бледным и надменным, но в глазах читалась тревога. Это был прокурор Московского окружного суда, Владимир Андреевич Ленский — молодой ещё, лет тридцати пяти, карьерист, назначенный на должность всего полгода назад и желавший отличиться, но панически боявшийся ошибиться. Назаров знал этот тип: в кабинете — лев, на месте преступления —мышь.

— Ваше превосходительство, — Назаров слегка наклонил голову (прокурор имел чин действительного статского советника, что соответствовало генеральскому рангу, но сыщик никогда не лебезил перед титулами). — Рад вас видеть. Вы уже осмотрели?

— Не осмелились без вас, — быстро проговорил Ленский, и в голосе его послышалась фальшивая твёрдость. — Я распорядился не приступать к следственным действиям до вашего

прибытия. Как главный судебный чин на месте, я несу полную ответственность... э-э... за процессуальную чистоту. Но для квалификации преступления необходимо ваше экспертное мнение. Так что приступайте, прошу вас. Я буду наблюдать.

«Наблюдать он будет, — подумал Назаров. — А отвечать — я. Как всегда».

— Разрешите тогда позвать врача, — сказал он. — Господин Троицкий здесь?

— Здесь, здесь, — раздался из-за спин чей-то ворчливый, скрипучий голос, и к огню протиснулся невысокий, коренастый человек в очках и заячьем тулупчике. Это был Николай Иванович Троицкий, старый патологоанатом, служивший в полиции с незапамятных времён. Назаров знал его лет двадцать — тот вскрывал тела и при генерале Долгоруковом, и при нынешнем градоначальнике. Троицкий был циник, брюзга, но золотые руки. И сейчас он трясся от холода и злости.

— Иван Филиппович, — заговорил он, не здороваясь, — вы мне скажите, кто этот идиот? — он кивнул в сторону прокурора, понизив голос, но недостаточно. — Приехал, запрещает осматривать. Говорит, ждите начальника сыска. А труп тем временем мёрзнет, а потом, когда я его вскрыю, все скажут — , снег, метель и признаки поплыли. Вы же знаете, при такой погоде...

— Знаю, Николай Иванович, знаю, — перебил Назаров, кладя руку на плечо врачу. — Сейчас всё сделаем. Где Огарёв?

— Здесь, Иван Филиппович, — раздался голос справа, и из полутьмы выскользнула тонкая, жилистая фигура поручика. Огарёв снял шапку, снег запутался в его тёмных волосах, лицо покраснело от ветра, но глаза горели тем нездоровым, лихорадочным блеском, какой появляется у него перед серьёзным делом. — Я уже обошёл овраг кругом, следов, кроме тех, что наши оставили, не видно. Всё замело. Но внизу, у тела, снег плотный — может, под ним что и осталось. Не трогали.

— Львов?

— В пути. Через четверть часа будет.

Назаров оглядел всех: местный пристав, который хочет поскорее передать дело и убраться к теплу; прокурор, который хочет выглядеть главным, но не знает, как; врач, который хочет наконец приступить к работе; Огарёв, который уже наострился, как лис, почуявший добычу. И где-то в снегу лежит мёртвая женщина, у которой, возможно, ещё вчера были имя, дом, надежды.

— Хорошо, — сказал Назаров, — Осматриваю тело я. Николай Иванович — рядом. Господин прокурор, будьте любезны присутствуйте рядом. Поручик Огарёв — берите Кондратьева и проверьте все подходы к оврагу в радиусе ста саженей. Если найдёте что-то — зовите, не топчите. Хотя в такую то метель что найдёшь пробурчал сыщик.

Он шагнул к краю оврага, но остановился, обернулся и добавил, глядя прямо на прокурора:

— И больше ни минутного промедления. Время, Владимир Андреевич, работает против нас. Метель не утихает, а это значит — каждая минута уносит улику.

Ленский кивнул, сглотнул и сделал шаг назад, словно уступая дорогу. И Назаров, тяжело ступая по скользкому снегу, начал спускаться в овраг — туда, где в свете факелов белел сугроб, а из него, как страшный цветок, торчала женская рука с посиневшими пальцами.

Назаров ступил в овраг, и снег хрустнул под его сапогами с тем особенным, леденящим душу звуком, какой бывает только в морозную ночь над свежей могилой. Доктор Троицкий, кряхтя и чертыхаясь, последовал за ним, держа саквояж с инструментами. Двое понятых — бородатые мужики из ближней деревни, вызванные околоточным, — замерли наверху с фонарями, освещая место.

— Ну-с, Николай Иванович, — сказал Назаров, опускаясь на колено, — приступим-с.

Труп лежал на боку, скорченный, словно в последнем усилии свернуться в комок и сохранить тепло. Снег засыпал его почти наполовину — только плечо, рука и часть юбки тор-

чали наружу. Огарёв с Кондратьевым бережно, лопатами, стали отгребать сугроб, стараясь не касаться тела. Снег смерзся в твердую корку, и потребовалось изрядное усилие, чтобы освободить женщину из этого ледяного плена. Наконец, когда тело обнажилось полностью, Назаров смог разглядеть его при свете факелов.

Он сделал это со спокойствием человека, видевшего смерть во всех её обличьях — от пьяной драки в Хитровке до изощрённого убийства в дворянской усадьбе. И всё же первое, что он отметил, была одежда. Ибо одежда — первый свидетель, она говорит о достатке, о привычках, о том, куда и зачем шла покойная в свой последний час.

Помимо красивого пальто платье — шёлковое, клетчатое, из добротной заграничной материи, не мятой, не дешёвой. Кофточка, надетая поверх, — шёлковая, с кружевным воротничком, хоть и занесённая снегом, но явно дорогая, не с рынка, а из хорошего магазина на Кузнецком мосту. Чулки — шёлковые же, тонкие, с узором, не простые бумажные, а настоящий шёлк. Полусапожки — лакированные, на пуговицах, с каблукчиком, хотя и заскорузли от мороза.

Назаров провёл рукой над телом, не касаясь, как фокусник, проверяющий невидимые нити.

— Трактирная пьянь, замёрзшая в канаве? — сказал он вслух, обращаясь скорее к самому себе, чем к доктору. — Нет, батенька. Это не наша версия. Это девушка не из тех, кто валяется под забором. Слишком прилично, слишком городски. Смотрите, Николай Иванович — даже при таком свете видно: платье чищено, кофточка не рваная, причёсана. Коса уложена аккуратно, заколота...

Он осторожно откинул русую косу, лежавшую на шее, и тотчас увидел то, от чего даже его, выдавшего виды, пробрало нехорошим холодком, не связанным с морозом.

Горло было перерезано.

Рана зияла широко — от уха до уха, как усмешка, только страшная, чёрная, запёкшаяся. Края её, в свете факелов, казались сизыми.

Назаров взглянул на доктора. Троицкий уже склонился над телом, подсвечивая себе ручным фонарём, и что-то бормотал под нос — то ли молитву, то ли медицинские термины.

— Вижу, вижу, — закивал он, не поднимая головы. — Рана резаная, орудием с тонким лезвием. Но что стало причиной смерти, Иван Филиппович, я скажу только после вскрытия. Мало ли — может, сердце остановилось от испуга, а рана уже потом...

— Ну ты и формалист, Николай Иванович! — Назаров усмехнулся, но усмешка вышла жёсткой. — Явное дело — перерезано горло, вот что её умертвило. И не прикидывайся, сам видишь. А ну-ка, погляди сюда.

Он осторожно, двумя пальцами, оттянул воротник кофточки, открывая шею чуть ниже раны. Даже при неровном свете факелов были видны тёмные, багровые пятна — следы пальцев, сдавивших горло с нечеловеческой силой.

— Синячищи-то какие, — сказал Троицкий, присвистнув. — Душили, голубушку. Сначала душили, а потом резанули? Или наоборот?

— А это ты, Николай Иванович, завтра в прозекторской и определишь, — сказал Назаров, выпрямляясь. — Моё дело — увидеть. А я вижу: на шее две беды. Не одна, а две. Сперва, может, хотел задушить — не вышло, или мало показалось, тогда ножом. Или наоборот — резанул, а для верности ещё и придушил. Зверь, одним словом.

Он отошёл на шаг, чтобы охватить тело взглядом целиком. Теперь, когда снег был отгребен, открылось больше. Девушка была невысокого роста, худощавая, лет, вероятно, тридцати — тридцати пяти. Руки тонкие, с ухоженными ногтями, хотя сейчас они уже посинели. На пальце — никакого кольца. Но в ушах...

Назаров наклонился ближе, прищурился. В ушах покойной, сквозь спутанные волосы, поблёскивали серьги. Он хорошо знал ювелирное дело — за тридцать лет сыска ему приходилось оценивать краденое, заложенное, продаваемое с рук. Он брал в руки вещицы от Фаберже

и от безвестных мастеров, научился отличать подделку от настоящего камня, золото от позолоты. И сейчас, даже при тусклом свете, он понял: серьги эти — настоящая драгоценность.

Две крупные жемчужины, нежно-розовые, в оправе из червонного золота, с мелкими бриллиантами по краям. Работа тонкая, явно заказная, не магазинная. Такие вещи не покупают в лавке у Ильинки — их заказывают у лучших мастеров, ждут месяцами, платят бешеные деньги.

— Платон Сергеич, — позвал Назаров, не оборачиваясь. — Ты здесь?

Львов, подоспевший как раз в ту минуту, когда они отгребали снег, бесшумно приблизился. Он стоял чуть поодаль, не мешая, но всё видел.

— Здесь, Иван Филиппович.

— Глянь на серьги. Что скажешь?

Львов наклонился, посмотрел, и в его лисьих глазах мелькнуло понимание. — Дорогие, — сказал он коротко. — Очень дорогие. Жемчуг розовый — редкость. Тысячи полторы — не меньше.

— Вот именно, — кивнул Назаров. — Полторы тысячи рублей. Вы знаете, господа, что можно было купить в Москве на такие деньги?

Он выпрямился, обращаясь уже не только к Львову, но и к стоявшему неподалёку прокурору, и к приставам, и к понятым — всем, кто мог слышать.

— Дом в переулке, небольшой, но свой, с землицей небольшой. Или участок земли под Москвой, десятин пять. Или стадо коров — двадцать голов, не меньше. Или экипаж с парой лошадей и год их содержания. А она носила их в ушах, как простые серёжки, и пошла в них в метель на окраину, где её и убили сказал кто-то из полицейских «А вот это вряд ли» парировал Назаров.

Он замолчал, давая этой мысли осесть. Потом снова опустился на колено и осторожно, почти благоговейно, приоткрыл ворот платья у самой груди.

— А вот это, — сказал он глухо, — самое главное.

На груди, на тонком кожаном шнурке, была только тёмная полоса — след от того, что носили. Самого же предмета не было.

— Натального креста нет, — сказал Назаров. — Сняли. Или сорвали. Возможно, ограбили, господа. Убили и ограбили.

Он поднялся, отряхнул колени. Снег падал на его седые усы, таял и стекал каплями.

— Так что имеем, — начал он, как бы подводя итог для самого себя. — Женщина молодая, прилично одетая, с дорогими серьгами, но без креста. Убита на пустыре у Дорогомиловской заставы. Причина смерти — перерезанное горло и, возможно, удушение. Ограблена. Следы? — он обернулся к Огарёву.

— Все замело, Иван Филиппович, — ответил тот. — Метель постаралась. Ни следов, ни вещей. Разве что что-то под телом найдётся.

— Под телом будем смотреть, когда перенесём, — сказал Назаров. — Николай Иванович, оформляйте протокол. Господин прокурор, разрешите отправить тело в прозекторскую?

Ленский, стоявший поодаль и старавшийся не смотреть на рану, поспешно кивнул.

— Разумеется, разумеется, Иван Филиппович. Я полностью полагаюсь на ваше усмотрение.

«Полагается он, — подумал Назаров. — Как же, жди. А как до начальства дойдёт — первый скажет: „А почему я не был проинформирован?“»

Но вслух он ничего не сказал. Он снова взглянул на лицо убитой — молодое, когда-то, видимо, красивое, а теперь застывшее в гримасе страха и боли. Глаза были прикрыты — может, от природы, может, снег залепил. Но он не стал их открывать. Он запомнил главное: родинка над левой бровью, маленькое пятнышко, почти незаметное. Если кто будет искать — это примета.

— Кондратьев, — позвал он, — вы говорили, что обход делали. В этих местах какие дома поблизости? Дачи, постоянные дворы, что-нибудь?

— Да так, ваше высокоблагородие, — ответил околоточный, почесывая затылок. — Сторожка железнодорожная, три дачи, но они на зиму заколочены, и трактир на большой дороге, версты за полторы. В трактире том ночуют извозчики да проезжие. Больше ничего.

— Значит, либо привезли сюда, либо сама пришла с кем-то, — сказал Назаров. — А шла она не из трактира, это точно. Слишком хорошо одета для трактира. Значит, везли. Или шла откуда-то, где была в гостях, а потом пошли пешком. Но кто пойдёт пешком в такую метель в дорогом платье и лакированных полусапожках? Нелогично.

Он снова опустил на колено, на этот раз — к изголовью. Метель, словно устав от собственного воя, чуть поутихла, и в редком просвете туч даже показалась луна — бледная, равнодушная, заливающая овраг мертвенным серебром. При этом новом свете лицо убитой стало ещё страшнее: восковое, застывшее, с запёкшимися тёмными подтёками у рта.

— Гребень, — сказал Назаров негромко, будто самому себе. — Черепаховый.

Он осторожно, двумя пальцами — так, чтобы не потревожить причёску более, чем необходимо, — отстегнул гребень из русских волос. Та часть косы, которую он поддерживал, мягко упала на снег, обнажив затылок. Иван Филиппович поднёс гребень к ближайшему факелу, повертел в руках, изучая со всех сторон.

Гребень был хорошей работы — не лавка, не рынок. Черепаховая пластина, тёплая на ощупь, с искусной резьбой по краю. Но не цветы и не травы были вырезаны на нём, как водится у московских мастеров. Назаров разглядел узкие, стрельчатые дуги, напоминающие готические окна, а в центре — крошечную розетку, похожую на стилизованную розу. Ни православного креста, ни привычных русских узоров. Рисунок был чужой, западный, скорее варшавский или виленский.

Он повернул гребень обратной стороной — и там, у самого основания зубцов, заметил едва различимую гравировку. Мельчайшие буквы, почти стёртые временем. Назаров сощурился, поднёс ближе к огню и прочёл: «Ave Maria, gratia plena».

Он замер на мгновение. Латынь. «Радуйся, Мария, благодати полная».

Иван Филиппович не был знатоком латыни, но эту молитву знали многие — её можно было услышать в костёлах, что стояли в Москве для поляков и немцев. Он помнил: так молятся католики.

— Вот оно что, — прошептал он одними губами.

Не торопясь, он вернул гребень на место, аккуратно закрепив косу, как было. Встал, отряхнул колени, и только тогда обратился к Троицкому, который стоял рядом, терпеливо ожидая.

— Так это все же, ограбление? — спросил прокурор Ленский, до сих пор стоявший в стороне и лишь теперь осмелившийся подать голос. — Вы сами сказали: крест сняли. Может, просто уличный грабёж?

— Уличный грабёж, ваше превосходительство, — возразил Назаров, — это когда срывают серьги, кольца, всё, что блестит. А тут серьги остались. Серьги — дорожные, полторы тысячи! — а их не тронули. Сняли только то, что носят под одеждой: крест. Значит, убийца или очень торопился, или боялся засветиться, или... — он сделал паузу, — или ему нужна была не столько добыча, сколько уничтожение именно этих вещей. Но это уже тонкости, господа.

Он достал из кармана носовой платок, промокнул лоб — несмотря на мороз, он вспотел от напряжения.

— Забираем тело. И будьте любезны, — он взглянул на понятых, — помогите перенести аккуратно. Не трясти. Каждая царапина теперь — улика.

И, когда носилки с телом, накрытым простынёй, понесли вверх по склону, Назаров задержался на мгновение, глядя на то место, где только что лежала убитая. В снегу осталась тёмная вмятина — её последний отпечаток на этой земле.

Он поднял воротник и пошёл к экипажу, оставляя за спиной овраг, понятых, доктора и прокурора, который всё ещё мялся на краю, не решаясь ни уехать, ни остаться.

Носилки с телом, прикрытым простынёй, закачались на руках понятых. Мужики, кряхтя и крестясь, понесли свою страшную ношу вверх по склону, туда, где у дороги дожидался санитарный фургон. Снег под ногами хрустел, фонари раскачивались, и тени прыгали по сугробам, словно нечистая сила плясала на свежей могиле.

Назаров проводил носилки взглядом, потом вытер рукавом пальто заиндевевшие усы и повернулся к своим.

— Ветлугин! — окликнул он.

Молодой подпоручик, до сих пор державшийся в тени, шагнул в круг света.

— Здесь, ваше высокоблагородие.

— Слушайте меня внимательно, Константин Дмитрич. Берите людей. Кондратьева — он здешний, каждую тропку знает. И ещё двух-трёх из Дорогомиловской части, кто помоложе и побыстрее на ногу. И — в обход.

Он поднял руку, показывая направление, хотя в темноте и метели всё равно ничего не было видно.

— Первое: дачи. Все, что стоят вдоль дороги и у самого оврага. Пусть и заколоченные на зиму — обойти, осмотреть. Может, какой сторож там живёт, или дворник какой приставлен. Спросить — не видали ли в последние дни девицу с русыми волосами, прилично одетую, не по деревенски. В клетчатом платье, в шёлковых чулках, в полусапожках лакированных. В такую метель далеко пешком не пройдёшь — значит, либо из экипажа высадили, либо откуда-то недалеко шла.

Ветлугин кивнул, мысленно перечисляя.

— Второе, — продолжал Назаров, понизив голос, хотя вокруг были только свои. — Трактир на большой дороге, что версты за полторы. Вернее, не сам трактир, а всё, что вокруг. Извозчики, проезжие, целовальник — всех перетрясти. Кто приезжал, кто уезжал, не было ли шума, не видели ли подозрительных лиц. Девушка та — иностранка, это почти точно. Может быть, полька, может, немка или француженка. Говорить могла с акцентом. Если кто слышал в тех местах чужую речь — запомнить, доложить.

— Иностранка? — переспросил Ветлугин с лёгким недоумением но быстро все сообразив Ветлугин вытянулся, щёлкнул каблуками.

— Всё понял, ваше высокоблагородие. Будет исполнено.

— Кондратьева я к вам пришлю, он сейчас понятых отпустит. Ступайте.

Ветлугин козырнул и быстро пошёл к группе полицейских, что толпились у фургона. Назаров проводил его взглядом и обернулся к доктору.

Николай Иванович Троицкий стоял у своих носилок, курил короткую трубку и смотрел на суету с философским спокойствием человека, который видел смерть во всех её видах и давно перестал удивляться.

— Николай Иванович, — сказал Назаров, подходя вплотную, — я у вас буду рано утром. В прозекторской. И жду от вас, батенька, интересного рассказа.

Троицкий выпустил клуб дыма, который тут же разорвало ветром.

— Интересного, говорите? — усмехнулся он. — Иван Филиппович, для меня всякий труп интересен. А этот — особенно. Дамочка не простая, вы правы. Я вам такое расскажу — может, и не захотите слушать. Но всё, что найду — всё скажу. Без утайки.

— За это и ценю, — кивнул Назаров. — До утра, Николай Иванович.

— До утра, Иван Филиппович. Не поминайте лихом, такая метель.

Доктор махнул рукой своим санитарам, и фургон, покачиваясь, тронулся с места, увозя тело в московскую тьму.

Назаров остался на краю оврага, в круге угасающих факелов. Ветер стих на мгновение, и в этой тишине было слышно, как где-то далеко лают собаки — то ли на дачах, то ли при трактире. Он поднял воротник, засунул руки в карманы и, не оборачиваясь, бросил:

— Глеб Иванович, Платон Сергеич. Едем со мной в управление.

Огарёв и Львов, стоявшие до того в стороне, переглянулись и молча направились к экипажу. Огарёв — быстрый, порывистый, с хищным блеском в глазах, Львов — бесшумный, почти призрачный, точно уже перевоплотился в кого-то другого, кто только ждал своего часа.

В экипаже было темно и тесно. Назаров сел лицом вперёд, Огарёв — справа от него, Львов — напротив. Кучер щёлкнул, лошадь рванула, и экипаж, увязая в снегу, покати́л по дороге к заставе, к Москве, к управлению.

Некоторое время ехали молча. Иван Филиппович снял шапку, провёл ладонью по волосам, потом закурил трубку — ту самую, казённую, которую не любил, но которая всегда была при нём в дороге. Табачный дым смешался с холодом, и в этом запахе было что-то успокаивающее, привычное.

— Ну, господа, — сказал он наконец, выдыхая дым в потолок экипажа. — Что скажете?

Огарёв заговорил первым, как всегда — резко, рубя слова:

— Дело грязное. Не грабёж. Грабитель снял бы серьги. А тут — только то, что под одеждой.

Львов, сидевший в тени, подал голос тихо, почти шёпотом, но каждое слово было весомо:

— может, она сама из богатой семьи или покровитель богат?

Назаров слушал и кивал. Умные мысли, правильные. Но главное было ещё впереди.

— Ветлугина я послал по свидетелям, — сказал он. — Он молодой, шустрый. К утру вернётся с докладом. А мы пока — в управление. Поднимем все списки пропавших за последние две недели. И бумаги по прежним двенадцати бесследным — Огарёв, вы говорили, двенадцать? Надо пересмотреть, нет ли среди них таких же — русских и с родинкой.

— Сделаем, Иван Филиппович, — сказал Огарёв.

Экипаж въехал в заставу. Здесь, за городской чертой, ветер был слабее, но снег валил всё так же густо. Впереди засветились редкие фонари — начиналась Москва.

Глава вторая

Было около двух часов ночи, когда экипаж остановился у крыльца сыскного управления. Метель здесь, в центре, бушевала не так люто, как за заставой, но все же кутала фонари в мохнатые шапки и гнала позёмку вдоль тротуаров. Назаров, не дожидаясь кучера, сам толкнул дверцу и выбрался на хрустящий снег.

— В кабинет, господа, — бросил он через плечо.

В вестибюле горела одна керосиновая лампа, дежурный околоточный дремал на стуле, но при виде начальника вскочил, вытянулся.

— Дежурного офицера ко мне, — распорядился Назаров, снимая на ходу верхнюю одежду и бросая её вестовому. — И чтобы через четверть часа на моём столе лежали все дела пропавших женщин возрастом от двадцати до тридцати пяти лет. Все, что есть за последние три месяца. Живо.

— Слушаюсь, ваше высокоблагородие! — Околоточный пулей вылетел из приёмной.

Огарёв и Львов поднялись следом. В кабинете Назарова было холодно — печи топили экономно, и ночной мороз пробирался сквозь старые рамы. Иван Филиппович зажёл лампу под зелёным абажуром, сел в своё кресло и указал подчинённым на стулья.

— Садитесь. Времени у нас — до утра, а оно наступит скоро. — Он взглянул на стенные часы. — Два десять. Совещаться будем коротко, по делу.

Львов опустился на стул с обычной своей бесшумностью, Огарёв — порывисто, как всегда, отодвинув стул ногой. Оба смотрели на Назарова с тем вниманием, какое бывает у охотничьих собак, взявших след.

— Итак, — начал подполковник, положив на стол свои тяжёлые, крепкие руки, — что мы имеем в наличии? Говорите, господа, не стесняйтесь. Сейчас не парад, а работа.

Львов, по обыкновению, заговорил первым — тихо, но весомо:

— Имеем труп, Иван Филиппович. И это не мало.

Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжил:

— Но вот что я заметил, пока тело не унесли. У неё горло перерезано. От уха до уха. А крови на снегу — почти нет. Совсем мало, для такой страшной раны. Значит, убивали не здесь. Сюда уже привезли — мёртвую или умирающую, но кровь уже не была. Метель, конечно, замела следы, но я уверен: место преступления — не овраг у Поклонной горы.

Назаров слушал, и на его жёстком, обветренном лице появилось то редкое выражение, которое подчинённые называли «отеческим одобрением». Он медленно кивнул, и в его седых усах, кажется, мелькнуло подобие улыбки.

— Хорошо, Платон Сергеич. Превосходно. Я сам это подметил. И доктор Троицкий, уверен, подметил — он не из тех, кто пропускает кровь. А вот прокурор наш... — Назаров не договорил, только махнул рукой. — Прокурор, как всегда, увидел лишь формуляр и собственный страх. Но вы правы: тело привезли. Значит, у нас есть не только убийца, но и тот, кто вёз. И, возможно, экипаж. Это нить.

Огарёв, сидевший до того молча, подал голос, нетерпеливо постукивая пальцами по колену:

— Нить, Иван Филиппович, но длинная. Метель всё замела. А если убийца был на лошадях — следы уже не найти.

— Найдём, Глеб Иванович, — спокойно возразил Назаров. — Не сразу, но найдём. Может и не экипаж с лошадей, но что-то да найдём. Но сейчас не об этом. Есть второе, и оно, пожалуй, важнее.

Он взял со стола чистый лист бумаги, повертел в пальцах и отложил.

— Девушка та — не православная. Это очевидно.

Огарёв нахмурился, а Львов, который до сих пор сидел неподвижно, чуть подался вперёд. Оба в один голос спросили, хотя и разными интонациями — Огарёв резко, Львов вкрадчиво:

— С чего такой вывод, Иван Филиппович?

— С того, — Назаров выдержал паузу, чтобы слова легли весомее, — что на черепаховом гребне, который держал её косу, есть изображение ангела. Но не простого ангела, а выполненного в стиле готическом. Западном.

— Помилуйте, Иван Филиппович! — воскликнул Львов, и даже его вечная невозмутимость дала трещину. — А чем, собственно, ангел наш, православный, отличается от католического? Ангел и ангел. Крылья, нимб. Может, девушке просто понравился гребень — вот и носила. Не думаю, что там какой-то особенный ангел.

Назаров поднял руку, призывая к терпению.

— А вот тут, Платон Сергеич, вы ошибаетесь. И я сейчас вам объясню, почему. Ибо сыск — это не только нюх и ноги, но и знание того, что простому глазу не видно.

Он откинулся на спинку кресла, и голос его зазвучал спокойно, почти учительски, как на лекции, — впрочем, Назаров никогда не был учителем, но в такие минуты он умел говорить так, что даже выдавшие виды сыщики замирали.

— В православной традиции, — начал он, — ангелов пишут по строгим правилам, по иконописным канонам. Лик у них строгий, беспристрастный. Фигура фронтальная, статичная, тяжёлая. Крылья — жёсткие, как доспехи. Одежды — византийские, ниспадающие, без излишней красоты. Словом, ангел там — посланец Божий, грозный и величественный, а не украшение.

Он сделал паузу и продолжал, оживляясь:

— А вот в готике, на Западе, ангелы совсем иные. Тело у них изогнуто, словно они танцуют или парят — так называемый «готический изгиб». Лица живые, человеческие, с мягкой, почти светской улыбкой — знаменитой «готической улыбкой», как у ангелов Реймского собора. Одежды — лёгкие, подпоясанные, с глубокими складками. И вместо тяжёлого византийского плаща — белая альба, почти прозрачная. Такой ангел — не страж, а скорее изящный посланник, почти придворный Небесной королевы.

Он поднял палец, чтобы предупредить возражение.

— Конечно, в наше время ношение такого гребня православной девушкой не сочли бы грехом. Не запретный плод. Но это был бы, знаете ли, очень смелый и красноречивый жест. Ибо в православном благочестии не принято помещать священные изображения на предметы утилитарного обихода — те, что втыкаются в волосы, лежат в кармане, трутся о гребёнки. Слишком бытовое, слишком интимное соседство. А вот в католичестве, на Западе, отношение к религиозным символам в ювелирном искусстве более свободное, более декоративное. Там и медальоны с Мадонной носят, и кресты поверх платья, и ангелов на гребнях — сколько угодно.

Он помолчал, давая подчинённым переварить услышанное, и закончил:

— И главное — латынь. Вы не видели, а я видел: с изнанки гребня вырезаны слова «Ave Maria, gratia plena». Это — четкий символ «латинства». В православной традиции не пишут таких молитв на украшениях. И уж точно не помещают их на внутреннюю сторону черепаховой пластины.

Огарёв, слушавший с нарастающим интересом, хмыкнул:

— Латынь — это ещё не всё. Мало ли кто что вырезает.

— Не всё, — согласился Назаров. — Но в сумме с ангелом, с отсутствием креста, с тем, как она была одета — складывается. А знаете, почему убийца сорвал крест? — Он взглянул на Львова, потом на Огарёва. — Потому что, возможно, она носила его поверх одежды. Так носят кресты католики — на виду, на цепочке поверх кофточки или платья. А мы, православные, носим крест под одеждой, на теле, чтобы никто не видел. Убийца сдёрнул то, что бросалось

в глаза. И серьги не тронул — потому что серьги в копне волос может, не заметил. Хотя не исключаю, что и крестик снял, возможно, для вида, чтобы думали, что грабёж.

Львов медленно кивнул, и в его лисьих глазах зажглось понимание.

— Католичка, — сказал он тихо, пробуя слово на вкус. — Убитая — католичка.

— Именно так, — подтвердил Назаров. — И теперь, господа, есть нить, надо ее описание донести во всех приходах католических — может кто и узнает, большая работа понимаю.

В дверь постучали. Дежурный офицер, тот самый штабс-капитан, что докладывал вечером, внес под мышкой пухлую папку с делами.

— Ваше высокоблагородие, — вытянулся он, — все дела о пропавших женщинах за последние три месяца. Тринадцать. Двенадцать — ранее, и одно — сегодняшнее, но по нему ещё не заведено, ибо тело только что доставлено.

— Оставьте, — сказал Назаров. — И ступайте. Через час зайдите, я дам новые распоряжения.

Когда дверь закрылась, он положил руку на папку.

— А теперь, господа, — он взглянул на часы — половина третьего, — будем читать. Нужно найти среди этих тринадцати ту, которая подходит по возрасту, по одежде, по вере. Может быть, среди них есть и другие католички. Или те, кто пропал при схожих обстоятельствах. Хотя, я как понимаю, труп довольно свежий, об этом нам уточнит утром доктор, так что вряд ли что мы обнаружим. Проверить же эти списки, наша прямая обязанность.

Он открыл папку, и в комнате воцарилась тишина, нарушаемая только шорохом бумаги и редким потрескиванием догоравших углей в печи.

За окном всё так же выла метель. Но в кабинете подполковника Назарова уже начиналось утро.

Они просидели над папками почти до восьми утра. Свечи в кабинете сменили дважды, лампу под зелёным абажуром прикручивали и снова разжигали, а за окном метель наконец устала и стихла, уступив место серому, мутному рассвету. Но в душах сыщиков света не прибавилось.

Назаров сидел, откинувшись в кресле, и потёр переносицу. Глаза слипались, голова гудела, но он знал, что сейчас нельзя ни пить чаю, ни клевать носом. Огарёв, напротив, ходил по кабинету, нервно заложив руки за спину, и то и дело поглядывал на стопку просмотренных бумаг. Львов сидел неподвижно, как изваяние, только пальцы его перебирали края очередного дела.

— Иван Филиппович, — сказал Огарёв, останавливаясь у окна, — я, конечно, не ропщу, но тринадцать дел — и ни одного подходящего. Это же не случайность.

— Не случайность, — глухо ответил Назаров. — Это закономерность. Или мы ищем не там, или убитая не числится в пропавших. А может, её ищут, но не у нас.

Львов поднял глаза:

— Как это — не у нас?

— А так, — Назаров взял со стола первое дело, раскрыл и пробежал глазами. — Вот, посмотрите. Дело номер пять: «О безвестном исчезновении мещанки Аграфены Петровой, по прозвищу Грунька-Рваная». Двадцати двух лет, росту низкого, волосом черна, лицом ряба, занималась нищенством и мелким воровством на Хитровке. Последний раз видели пьяной в трактире у Покровки. Заявила о пропаже содержательница ночлежного дома, ибо Грунька задолжала ей за угол.

Он отложил дело, взял следующее.

— Дело номер девять: «Об исчезновении девицы Марфы Козловой, девятнадцати лет, фабричной работницы с Прохоровской мануфактуры». Ростом средним, волосом тёмно-руса, телом дородна, грамоте не обучена, характера буйного. Исчезла после получки, предположительно с заезжим коробейником. Заявил мастер, ибо работница нужна была к сезону.

Он швырнул бумаги обратно на стол с таким видом, будто они жгли ему пальцы.

— Дело номер двенадцать, последнее из тех, что поступило до сегодняшней ночи: «О пропаже крестьянки Анисьи Ильиной, двадцати четырёх лет, беглой из деревни, проживавшей по подложному паспорту в Лефортове». Занятия — торговля собой в весёлом доме, знакома всему участку. Исчезла после ссоры с сутенёром. Сутенёр в камере, но молчит, как рыба.

Огарёв усмехнулся желчно:

— И что общего у этих девок с нашей убиенной? Ни роста, ни стати, ни веры, ни манер. Наша — в клетчатом платье, в шёлковых чулках, с черепаховым гребнем, с серьгами за полторы тысячи. А эти — рвань и синь. Тьфу.

— Не тьфу, Глеб Иванович, а факт, — поправил Назаров. — У нас в городе пропадают женщины двух сортов. Первый сорт — те, о которых никто не заявит, потому что их никто не ищет. Второй сорт — те, о которых заявят с большой помпой, с прокурором, с газетами, с сыском по всей Москве. Наша убитая — не из первых. Но она и не из вторых, ибо мы о ней ничего не знаем. Стало быть, есть третий сорт.

— Какой? — спросил Львов.

Назаров поднялся из-за стола, а это нам — то и предстоит узнать.

Он обернулся к столу, на котором громоздились папки.

— Так что, господа, эти тринадцать дел — для нас не помощники. Убитая наша — из другого теста. Она или католичка из хорошей семьи, или содержанка богатого человека, или иностранка, приехавшая в Москву по делам. Но её нет в наших списках. И это плохо и хорошо одновременно.

— Хорошо? — удивился Огарёв. — Это почему же?

— Потому, Глеб Иванович, — сказал Назаров, садясь обратно в кресло и потирая затёкшую шею, — что если её нет в официальных списках, значит, её ищут по-другому. Частные объявления, может, в газетах, или справки в костёлах. А мы завтра — уже сегодня — начнём с костёлов и ювелиров. Платон Сергеич, вы поедете по ювелирным лавкам с рисунком серёг. Глеб Иванович — по костёлам. Я — к доктору, а потом в католический приход к ксёндзу. И ещё... — он помолчал, собираясь с мыслями. — Надо дать запрос в гостиницы и меблированные комнаты, где останавливаются иностранцы. Если она приезжая, могла жить в «Славянском базаре» или у Дюссо.

Львов кивнул, занося в памятную книжку. Огарёв хрустнул пальцами.

— А если нигде не найдём?

— Найдём, — твёрдо сказал Назаров. — Потому что нет преступления без конца. И нет трупа без имени. Дайте срок.

Он взглянул на часы. Без четверти восемь. За окном серело, и в этом сером свете было что-то безнадежное, как в невыстиранном белье.

— Ветлугин ещё не вернулся? — спросил он.

— Нет, — ответил Огарёв. — Должен с минуты на минуту.

— Тогда, господа, перерыв на полчаса. Умыться, выпить чаю, закусить чем Бог послал. А потом — по местам. Сегодня мы должны узнать, кто она. Иначе завтра это будет сделать труднее.

Он встал, потянулся, хрустнув костями, и направился к двери.

— И ещё, — сказал он уже на пороге, обернувшись. — Вы, Глеб Иванович, пока по костёлам поедете, прихватите с собой нашего рисовальщика. Пусть сделает портрет убиенной по моему описанию — родинка над бровью, русые косы, овал лица. Без лишних подробностей, но чтобы узнать можно было. Размножим и раздадим ксёндзам. Авось кто и опознает.

— Слушаюсь, — сказал Огарёв.

Назаров вышел. В коридоре было тихо, только дежурный городской спал, прислонившись к стене. Иван Филиппович прошёл в умывальную, долго плескал ледяной водой в лицо, потом вытерся жёстким полотенцем и посмотрел на себя в тусклое зеркало.

«Стареешь, Иван», — подумал он. — «Мешки под глазами, кожа серая. А дел — на десятерых молодых. Ничего. Пока ноги носят, будем служить».

Он вернулся в кабинет, где уже на столе дымился чайник, принесённый дежурным, а Огарёв и Львов молча, пили из мутных казённых стаканов. Никто не произнёс ни слова. Все думали об одном и том же.

Через час они разъедутся по разным концам Москвы, и начнётся охота.

Глава третья

От управления до прозекторской было не близко — на другой конец Москвы, в глухие переулки за Покровкой, где старые больничные корпуса жались друг к другу, словно боялись мороза. Назаров ехал в наёмном экипаже, кутаясь в пальто, и всю дорогу прокручивал в голове списки пропавших, которые они с коллегами перебрали до рассвета. Ни одной подходящей. Ни одной похожей. Словно убитая явилась из другого мира — не из московских трущоб и не из купеческих хором, а откуда-то, где говорят на другом языке и молятся другим святым.

Прозекторская помещалась в подвальном этаже, с окнами под самым потолком, забранными решёткой. Воздух здесь, даже в такой мороз, был тяжёлым, утробным — смесь карболки, йодоформа и того особого, сладковатого духа, который остаётся там, где смерть встречается с ножом. Назаров знал этот запах тридцать лет, но так и не привык.

Доктор Троицкий встретил его в длинном кожаном фартуке, с засученными рукавами и с лицом усталым, но оживлённым — как у человека, который только что решил трудную задачу и теперь не терпит похвастаться решением.

— Иван Филиппович! — воскликнул он, протягивая руку для рукопожатия, но тут же отдёргивая её — ладони были в перчатках, ещё не снятых после работы. — А я вас ждал. Проходите.

Назаров вошёл, огляделся. Тело убитой лежало на цинковом столе, прикрытое простыней, и только бледная ступня с аккуратно подстриженными ногтями выдавала, что под этим холодным полотном — человеческое тело. Он не стал смотреть на лицо.

— Ну, доктор, — сказал он, садясь на табурет у стены, — выкладывайте. Времени у нас — кот наплакал.

Троицкий откинул простыню только настолько, чтобы показать шею и лицо, и начал, как лекцию, с той спокойной, почти циничной уверенностью, какая бывает только у старых патологоанатомов.

— Смерть, Иван Филиппович, наступила два дня назад, от ранения в горло. И ранение это — не какая-нибудь царапина. Горло перерезано. Основательно. Сонные артерии — обе — перерезаны полностью. Дыхательные пути — тоже. Кровь хлынула внутрь и наружу. Смерть наступила в течение нескольких секунд, я бы сказал — мгновенно.

Он перевёл дух и продолжил, указывая пальцем на шею покойной:

— Но до того, как её резанули, её душили. Следы удушения очевидны: кровоподтёки на шее, характерные для пальцев, сдавливающих гортань. Пальцы были сильные, мужские. Душили сзади или спереди — сказать трудно, но то, что душили — несомненно. И не просто придушили для острастки, а всерьёз. Я бы даже сказал — с яростью.

Назаров молча кивнул. Он видел эти синяки ещё в овраге, но сейчас, при ярком свете ламп, они казались ещё страшнее — багровые, с тёмным отливом, как запёкшаяся смородина.

— Это не всё, — продолжал Троицкий. — Под левым глазом — огромная гематома. Удар. Кто-то ударил её кулаком или, может быть, чем-то тяжёлым, но скорее кулаком — след круглый, без разрыва тканей. И вообще, Иван Филиппович, тело — одна сплошная картина побоев. Ссадины на руках, на плечах, на спине. Ушибы мягких тканей. И ребра — сломаны с обеих сторон, и справа, и слева. Переломы свежие, прижизненные. Её не просто убили, её сначала избили. Жестоко, бессмысленно, с какой-то звериной злобой.

— Насильственное любодеяние? — спросил Назаров прямо, глядя доктору в глаза.

Троицкий покачал головой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.